

Географический образ России и постсоветские языковые идентичности

Дмитрий Замятин



Язык — мощный стимул обретения и поддержания индивидуальной, групповой и территориальной идентичности и, в то же время, один из ее ядерных признаков. Но языковая идентичность репрезентируется не только языком общения, языковым сознанием и очевидными признаками конкретной лингвокультурной общности. Под языковой идентичностью можно понимать и образ социализации собственного бытия. Это бытие проявляется, в числе прочего, и в определенной привязке личности и общности к социокультурному географическому пространству. В рамках такой привязки язык выступает «бессознательным паролем» подлинности различных экзистенциальных стратегий. Распад СССР, помимо известных политических, экономических и культурных итогов, вызвал ряд пока еще слабо заметных последствий, и их постепенные и детальные ретроспективы могут со временем расширить и трансформировать традиционные взгляды на взаимосвязь

языка, идентичности и пространства [Серио 1999а: 337–384; Серио 1999б: 679–704; Киселева, Дамберг 2003: 192–217].

Географическое пространство, проявляющееся устойчивыми идеологическими и социокультурными знаками, символами, ассоциациями, стереотипами, может рассматриваться как *географический образ* [Замятин 2003а, 2004, 2006]. В культурно-антропологическом отношении географический образ есть реверсивная, «возвратная» ментальная структура: она смещает и, одновременно, расширяет привычные в обыденном контексте идеологические и социокультурные символы, связываемые с определенным географическим пространством. Иначе говоря, устойчивый географический образ хорошо «впитывает» в себя прошлое, всевозможные истории личного и коллективного порядка, относимые в личном и коллективном сознании к соответствующей территории. При этом сама территория тоже может рассматри-

ваться как образ. Однако это изначальный первообраз, он насыщается и наполняется знаково-символическим содержанием, позволяющим говорить о феномене реверсивности, своего рода «территории назад», живущей в настоящем — в социокультурном ментальном слое конкретных общностей — и проецируемой в будущее [Шнирельман 2003].

Советский Союз после своего распада стал не просто фантомным географическим образом или же «территорией ностальгии» для различных политических и культурных общностей, но широким образно-географическим пространством, в пределах которого формируются устойчивые личностные и коллективные идентичности [Дробизева 2003: 47–77]. Историко-географическим парадоксом такой культурно-антропологической ситуации можно считать частичную конверсию образа СССР в географический образ России, что в эпоху существования Советского Союза было почти недопустимым идеологически. Тем не менее идеологические ростки этой образной конверсии просматривались уже в 1960–1970-х годах, когда формировались ментальные основы нового российского почвенничества, нового российского патриотизма и национализма.

Географический образ России в начале XXI в. — так, как он может быть репрезентирован в индивидуальных и групповых проявлениях и предпочтениях, — это сочетание весьма далеких друг от друга аллюзий, мифов, архетипов и стереотипов, связанных с территориями бывших СССР и Российской империи. Однако, несмотря на свою гетерогенность, этот комплекс оказывается вполне функциональным и работоспособным в социокультурной ситуации постсоветского пространства [см., например: Савва 2003: 474–496; Батомункуев 2005: 66–105; Горак 2005: 105–133;

Грозин 2005: 5–29]. Возможно, решающим условием подобной функциональности как раз и является русский язык, точнее, его ключевая роль в воспроизводстве как самого географического образа России, так и основных идентичностей, формирующихся на фундаменте этого образа. Русский язык выступает здесь не только и не столько как средство былой культурной гегемонии, но как поле взаимных притязаний, надежд, устремлений и проектов. Как ни парадоксально, эти проекты формулируются в контексте возможных политических реконструкций, зачастую подразумевающих тотальное уничтожение социокультурного и экзистенциального значения русского языка.

Языковые идентичности в бывших республиках СССР — вне зависимости от степени культурной автономии и языкового родства — развивались в конце XX – начале XXI вв. на фоне географического образа России в его негативных и позитивных коннотациях. Это обусловило общий идеологический генезис практически любых языковых проектов — от Эстонии до Узбекистана. Здесь следует говорить не столько о конкретных проектах смены графики (кириллицы на латиницу или арабское письмо) или об изменениях официального статуса русского языка, сколько о ритуальном и символическом культурном значении русского языка, которое лишь подчеркивалось и аффектировалось подобными проектами и ограничениями [Язык и этнический конфликт 2001; Панарин 2003: 427–450; Ларюэль, Пейруз 2007]. Не вдаваясь в детали, можно утверждать, что избыточная политическая символизация русского языка [Сандомирская 2001] стала эффективным катализатором формирования постсоветского географического образа России. Очевидная неоднозначность этого образа фиксируется во многом с помощью языковых интерпрета-

ций и концентрации общественного мнения вокруг феномена русскоязычности.

Понятно, что автохтонные языки бывших республик СССР, формально получившие совсем иной статус, нежели в советский период, оказались в благоприятной образной и когнитивной ситуации. Тем не менее процессы глобализации внесли очевидные коррективы в подобные представления. Практически любой язык на постсоветском пространстве, признанный государственным и имеющий вследствие этого четкие институциональные привилегии, оказался как бы между двух огней: либо автохтонные языковые идентичности в чистом виде, в форме соответствующих «национально-государственных резерваций» при обязательном использовании английского языка для внешних репрезентаций, либо смешанные языковые идентичности с ограниченным культивированием и воспроизводством русскоязычных практик для поддержания жизнеспособной национально-государственной идентичности. Это, естественно, не умаляет значение английского языка, становящегося еще одним орудием расширения культурных коммуникаций. Так или иначе, реальные языковые практики в бывших республиках СССР стали одновременно и средством (процессом), и результатом осуществления довольно архаичного европейского политического проекта эпохи раннего модерна — проекта «*nation-state*», «национального государства». При этом в условиях распада самого модерна осуществлять подобные проекты на постсоветском пространстве можно было чаще всего в форме причудливых переходных лингвокультурных «микстов» из автохтонных языков, русского и английского языков.

Лингвокультурная ситуация на постсоветском пространстве, стабильно воспроизводившаяся в начале XXI в., подразумевала

постоянное манипулирование географическим образом России. Конфигурации этого образа должны были регулярно меняться, трансформироваться в зависимости от особенностей развития и взаимодействия постсоветских языковых идентичностей, включая российскую/русскую идентичность. В подобном лингвокультурном когнитивном контексте географический образ России становился националистически обостренным, более дискуссионным и, одновременно, более традиционалистским [Шнирельман 2004]. Тем не менее признаки и символы советской эпохи очень органично и, в то же время, коллажно сочетались в нем с символами и знаками «Московского царства» и Российской империи. Характерно, что идеологические поиски современной постсоветской российской *versus* русской идентичности, связанные с политическими и социокультурными концепциями «русского мира», «русского зарубежья», и типологически близкие более ранние и сравнительно успешные западные постимперские лингвокультурные проекты, вроде франкофонии или иберофонии, в известной степени послужили «маяком», образцом для аналогичных идеологических поисков в бывших республиках СССР (иногда, правда, в утрированном виде, как в случае, например, украинских экстремистско-традиционалистских ретроспективных идеологических проектов) [Савоскул 2003: 308–337].

Как бы то ни было, в начале XXI в. пространство выступает естественной образной основой для любого рода проектов идентичности, тем более, языковой идентичности, которая еще с эпохи зрелого модерна тесно связана с идеолого-националистическими проектами с их апелляцией к «крови и почве». Идеологическое наследие модерна, будучи преимущественно западным (европейским) порождением, претерпевает очевидные

метаморфозы на территориях и в пространствах, чьи цивилизационные основания плохо сопрягаются с ключевыми требованиями модернизации. Подобные метаморфозы могут быть эффективно репрезентированы именно на геокультурном или геочивилизационном фундаменте, когда конкретное пространство/территория/регион/страна наделяется специфическими образными маркерами, расширяющими довольно узкие культурно-типологические матрицы. При таком подходе становится возможно говорить об азиатском модерне, российском модерне, постсоветском модерне и т.д., не рискуя практически сразу оказаться в плену евроцентристских идеологических дискурсов.

Речевые и письменные языковые практики во многом зависят от структур повседневных коммуникаций и от образов доминирующих культурных ландшафтов. Преобладающая речь на улице, в толпе, в кафе, уличные вывески, газетные киоски, продавцы в магазинах, язык бизнес-переговоров и лекций в университетах, стендовая информация в госучреждениях, полки в книжных магазинах, дорожные указатели, программы телеканалов, содержание Интернет-сайтов — все это обуславливает не только фон, на котором формируются языковые идентичности, но и сами структуры идентичностей. Языковые идентичности, в свою очередь, могут сами определять содержание и структуры обыденных культурных ландшафтов, влияя на становление доминирующих географических образов страны/территории.

Агония модерна привела к дифференциации культурных и идеологических дискурсов, не соприкасающихся или почти не соприкасающихся друг с другом. В частности, пространство глобализации (в той версии, которая складывается в развитых западных странах) часто представляет со-

бой сравнительно автономное сосуществование различных локальных идентичностей, культурных ландшафтов и географических образов, чья общность может быть зафиксирована лишь фрагментарно, «одномоментно» [Малахов 2000: 4–8; Mapping Multiculturalism 1996]. Экспансия подобных образов глобализации на постсоветском пространстве оказалась невозможной без их существенной трансформации: образцовые западные дискурсы здесь нередко превращаются во внешний идеологический и культурный «сленг», существующий в хаосе домодерных, современных и постмодерных символических форм, и, таким образом, теряют свое действительное содержание и смысл [Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ 2002]. В подобной ситуации языковые идентичности в бывших республиках СССР оказались тесно связанными с уцелевшими фрагментами бывших советских культурных ландшафтов [Каганский 2001]. Эти фрагменты выполняют роль временных идеолого-культурных указателей и характеризуются преобладанием русскоязычных маркеров.

Языки «титulyных наций» постсоветских государств, функционирующие на развалинах советских культурных ландшафтов и на фоне плохо понятых процессов глобализации, нуждались и нуждаются в полноценном культурном признании. Но не в виде официальных языковых политик, а, прежде всего, в виде общепринятых обыденных речевых и письменных практик. Попытки добиться «идеального» общественно-культурного коммуникативного статуса для автохтонных языков в бывших республиках СССР, сознательно или бессознательно, стихийно или организованно, были нацелены преимущественно на непосредственный перевод — как прямой, так и косвенный (функциональный) — языковых идентичностей, функционировавших на

территории Российской Федерации. Российская Федерация воспринималась как прямая культурная наследница Советского Союза, а растущая ностальгия по СССР способствовала в начале XXI в. «реабилитации» всего русского и российского. Для формирования самостоятельных языковых идентичностей на постсоветском пространстве, по сути, требовалась некая внешняя культурная легитимация, что и осуществлялось, хуже или лучше, с помощью копирования, ретрансляции современных российских языковых идентичностей, хотя источник копирования чаще всего затушевывался по политическим и идеологическим мотивам. Но не стоит недооценивать и социокультурную экспансию самих российских языковых идентичностей. Речь идет, прежде всего, об экспансии российских масс-медиа, эстрадной музыки, кино, видео, книжного рынка, культы российских поп-звезд, киноактеров, российских компаний, распространяющих собственные речевые и письменные практики.

Крайне интересной и знаменательной в контексте взаимодействия постсоветских языковых идентичностей представляется история с решением Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности ряда положений законов «О языках народов Российской Федерации» и «О языках народов Республики Татарстан» (ноябрь 2004 г.). Один из крупнейших субъектов России — Татарстан — замахнулся на «святая святых» — культурную и цивилизационную идентичность страны, во многом связанную именно с кириллицей. Конституционный суд признал незаконной попытку Татарстана отказаться от кириллицы и перейти на латиницу и постановил, что официальным алфавитом в республике останется кириллица. Согласно вердикту суда, субъекты РФ вправе самостоятельно устанавливать графическую основу национального языка.

Отметим, что в Советском Союзе были народы и союзные республики с иной письменной графикой, нежели кириллица: грузины, армяне, эстонцы, латыши, литовцы и, соответственно, республики Закавказья и Прибалтики. Вспомним всплеск культурного интереса к латинице в 1920-е годы в контексте приближавшейся, как тогда казалось, мировой революции. Когда революционные иллюзии развеялись, «крамольные» языки были переведены на кириллицу.

Культуртрегерская роль русской культуры по отношению к татарской, несмотря на разные религиозные основы, ясно прослеживается, по крайней мере, на протяжении последних веков. Это позволяет говорить о *русском культурно-политическом круге*, который не во всем совпадает с зонами российского политического контроля и влияния, с территориальными границами современной российской государственности. Этот круг предполагает, наряду с традиционными политическими практиками, проведение и особой культурной политики, призванной теснее привязать тот или иной народ к политической и этнокультурной метрополии. Такой подход был продемонстрирован многими великими державами и империями в эпохи колониализма и постколониализма. Язык и его прямые производные (устная речь, письменность, литература), несомненно, играют в подобных культурных политиках важнейшую роль.

Чем отличается Татарстан от Индии и Алжира, Вьетнама и Индонезии, Гвинеи-Бисау и Анголы? Понятно, что государственность Татарстана в данном случае — политический суррогат. При этом следует учесть и огромное число татар, живущих в России за пределами самого Татарстана. Латиница — как элемент вестернизации и активатор последующего возможного политико-культурного дрейфа Татарстана

в сторону обретения более весомой государственной самостоятельности, уже в пределах европейского политико-культурного круга, — была недопустимой в рамках сложившейся к началу XXI в. территориально-политической организации России.

В России много национальных республик — субъектов федерации, в которых национальные письменности существуют и развиваются на основе кириллицы, и это не вызывает там особых возражений. Так ли уж важно в эпоху, когда мировая политика не знает национальных и/или государственных границ, претендовать на оригинальность собственной письменности как атрибут политического и культурного самостояния? Вопрос все же не праздный, поскольку в случае Татарстана одна из его корневых религиозных идентичностей — исламская — входит в противоречие со всеми остальными базисными характеристиками местной культурной политики [Шнирельман 2002: 128–148; Сагитова 2003: 77–125].

Решенная будто бы в политической плоскости, проблема графики татарского языка — лишь знак или, шире, символ перехода традиционных этнокультурных и социальных ценностей из разряда политически весомых, «тяжелых» в сферу аполитического, в область явного безразличия к «большой политике». Вопросы «большой политики» в начале XXI в. решались, естественно, не в Конституционном суде. Под завуалированными и запутанными юридическими формулировками скрывается живое тело политических решений и компромиссов. Татарстан здесь — символ политического выравнивания территории России не в смысле нарастания авторитарной тенденции (хотя она, безусловно, присутствует), но в смысле одновременного включения любых региональных и национальных идентичностей в общегосударственный и транснаци-

ональный контексты [Замятин, Замятина 2000: 98–110; Замятин 2003б: 34–46].

Татарские тексты на кириллице, на наш взгляд, выглядят странно. Но эту графическую странность можно считать неотъемлемым элементом самого образа Татарстана, в котором переплелись и Итиль, и Казань, и волжские булгары, и Казанское ханство, и президент Татарстана Минтимер Шаймиев, и грузовики КАМАЗ. По сути, Татарстан — мощный политико-географический образ, многие компоненты которого явно русифицированы, что рождает амальгаму регионального и, одновременно, транснационального политического бытия.

Когнитивная сложность происходящего на наших глазах процесса во многом объясняется амбивалентностью современных российских языковых идентичностей; эта социокультурная «турбулентность», дискурсивная разнонаправленность, так или иначе, в той или иной степени, непосредственно или опосредованно, передается, «переводится» и в других языковых идентичностях на постсоветском пространстве. Главная внутренняя проблема, с которой связана внешняя хаотичность, образно-символическая непроработанность российских языковых идентичностей, заключается в ментальной и социокультурной «неразмещенности» этнических и языковых маркеров постсоветских культурных ландшафтов. Дефицит маркеров приобретает особое значение в условиях сильной этнокультурной мозаичности. В крупных городских агломерациях и мегалополисах данная проблема только усиливается. Концепция мультикультурализма, по всей видимости, пока не очень применима или же просто нерелевантна по отношению к современным этнокультурным ландшафтам Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска или Казани. Ситуация осложняется значительной иммиграцией как

с постсоветского пространства, так и из-за его пределов — из Китая, Юго-Восточной Азии, частично со Среднего Востока.

Советский привкус современного географического образа России обусловлен, в числе прочего, авторитарными (как формальными, так и неформальными, повседневными) русификаторскими языковыми практиками, которые усиливаются параллельно увеличению иммиграционного потока. Другое дело, что пока эта особенность вполне приемлема и даже желательна для большинства российского общества. Между тем образное описание современного российского пространства уже не адекватно реальному многообразию этнокультурных ландшафтных маркеров не только в крупных российских городах, но и в сельской местности, также испытывающей приток мигрантов, в том числе и русскоязычных соотечественников из бывших республик СССР [см., например: Пядухов 2002: 33–52].

Основная проблема взаимодействия географического образа России и языковых идентичностей в бывших республиках СССР заключается, как ни странно, не во взаимном ущемлении и дискриминации соответствующих языковых практик (что, конечно, может серьезно влиять на оценки этого образа). Когнитивная тяжесть проблемы состоит в том, что в рамках весьма одномерного географического образа России отчетливо доминируют русская языковая идентичность и ее ведущие репрезентации (религиозная, образовательная, литературная, коммуникативная), то есть в образно-географическом империализме, который, однако, не является продуманным политическим проектом. Подобная ситуация является идеологически обоюдоострой, поскольку дилемма русскости/российскости, русского/российского [Трубачев 1997: 226–280] напрямую связана с проблематикой

социополитического обоснования русского versus российского патриотизма.

Возможные решения можно найти или сформулировать в рамках *геоспациализма* (термин и понятие введены мной. — Д.З.). Определенное видение и ощущение пространства локализуется в ментальном плане как пучок социокультурных образов, представляемых как реальность. Исходя из этого, современный географический образ России можно считать запаздывающим «пространственным проектом» модерна, не предполагающим существования языковых идентичностей как автономной когнитивной и социокультурной проблемы (язык не является полем непосредственного дискурса о нем). Вместе с тем данная ситуация может трактоваться и как потенциально благоприятная. Масштаб российского пространства и его этнокультурное ландшафтное разнообразие были достаточно эффективно трансформированы и репрезентированы совокупностью мощных географических знаков, символов, мифов, стереотипов. В эпоху российской социокультурной модернизации эти знаки были закреплены в форме постоянно воспроизводимых цивилизационно-культурных кодов — естественно, по европейскому «лекалу» и по европейским социокультурным образцам (не исключая традиционные имперские коды, также ориентированные на уникальные пространственные масштабы) [Хрестоматия по географии России 1994; Империя пространства 2003].

Итак, языковые идентичности в бывших республиках СССР можно помыслить как иную пространственную «оптику», другое пространственное видение и ощущение, нежели то, которое до сих пор устойчиво транслируется в традиционных версиях географического образа России. Любая языковая идентичность может репрезентироваться как поле образно-географи-

ческих дискурсов, которые лишь условно обозначаются конкретными языковыми метками (например, «татарский дискурс», «грузинский дискурс», «казахский дискурс» и т.д.). Язык в полноте его речевых и письменных практик дистанцируется от языковой идентичности посредством ментальной процедуры *геоспациализации*; в геоспациальном контексте языковая идентичность является пространством доминирующих и взаимосвязанных образов, обозначаемых языковым маркером, то есть своего рода ментальным «вектором» (армянская идентичность в украинском пространстве будет восприниматься иначе, нежели в литовском или туркменском).

Политическое и культурно-цивилизационное будущее постсоветского пространства во многом зависит от того, удастся ли политическим и культурным элитам новосозданных независимых государств разработать такие формы интерпретации

языковых идентичностей, которые не были бы жестко привязаны к географическим представлениям о России эпохи классического модерна (это верно и для самой России). Сложность ситуации заключается в том, что процессы глобализации, оказывающие мощное воздействие на становление языковых идентичностей на постсоветском пространстве и на формирование взаимных географических представлений и образов, сами по себе есть лишь реакция на распад культурного проекта модерна, а не четкое выражение нового мета-цивилизационного проекта. Так или иначе, геоспациализм применительно к проблематике языковых идентичностей в постсоветских государствах может быть интерпретирован как идеологическая матрица нового цивилизационного образца, отражающая в своем когнитивном генезисе всю социокультурную неоднородность, переходность постсоветской эпохи.

примечания

Батомункуев С. 2005. Новые бурятские идентичности: мифологическое и политическое содержание дискурса // «Вестник Евразии. Acta Eurasica», № 2(28).

Горак С. 2005. Мифы Велико-го Туркменбаши // «Вестник Евразии. Acta Eurasica», № 2(28).

Грозин А. 2005. Интернет и образы постсоветской Азии в России // «Вестник Евразии. Acta Eurasica», № 2(28).

Дробижева Л. 2003. Российская, этническая и республиканская идентичность: конкуренция или совмести-

мость // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В. Гельмана и Т. Хепфа. СПб.; М: Изд-во Европейского университета, Летний сад.

Замятин Д.Н. 2003а. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб.: Алетейя.

Замятин Д.Н. 2003б. Политико-географические образы российского пространства // «Вестник Евразии. Acta Eurasica», № 4(23).

Замятин Д.Н. 2004. Власть пространства и пространс-

тво власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М.: РОССПЭН.

Замятин Д.Н. 2006. Культура и пространство: моделирование географических образов. М.: Знак.

Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. 2000. Пространство российского федерализма // «Политические исследования», № 5.

Империя пространства. Геополитика и геокультура России. Хрестоматия. 2003 /

Сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: РОССПЭН.

Каганский В. 2001. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение.

Киселева И., Дамберг С. 2003. «Другие русские»: роль в историческом сюжете // Евразия. Люди и мифы. Сб. статей из журнала «Вестник Евразии» / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.

Ларюэль М., Пейруз С. 2007. «Русский вопрос» в независимом Казахстане: история, политика, идентичность. М.

Малахов В. 2000. Культурный плюрализм versus мультикультурализм // «Логос», № 6.

Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. 2002 / Под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. М.

Панарин С. 2003. Национально-культурное возрождение в республиках и территориальная целостность России // Евразия. Люди и мифы. Сб. статей из журнала «Вестник Евразии» / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.

Пядухов Г. 2002. Этнические группы внешних мигрантов в конфессиональном пространстве российской провинции // «Вестник Евразии. Acta Eurasica», № 4(19).

Савва М. 2003. Мифоидеологемы — знамена сепаратизма (на примере Северного

Кавказа) // Евразия. Люди и мифы. Сб. статей из журнала «Вестник Евразии» / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.

Савоскул С. 2003. Этнополитические ориентации и гражданская идентичность населения Украины // Евразия. Люди и мифы. Сб. статей из журнала «Вестник Евразии» / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.

Сагитова Л. 2003. Региональная идентичность: социальные детерминанты и конструктивистская деятельность СМИ (на примере Республики Татарстан) // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В. Гельмана, Т. Хепфа. СПб.: М: Изд-во Европейского университета, Летний сад.

Сандомирская И. 2001. Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик // «Wiener Slawistischer Almanach», Sonderband 50 («Венский альманах славистики», спецвыпуск 50). Wien: Gesellschaft zur Foerderung slawistischer Studien.

Серио П. 1999а. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс.

Серио П. 1999б. Лингвистика, дискурс о языке и русское

геоантропологическое пространство // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М.: О.Г.И.

Трубачев О.Н. 1997. В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М.: Наука.

Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России. 1994 / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. Под общ. ред. Д.Н. Замятина. Предисл. Л.В. Смирнягина. Послесл. В.А. Подороги. М.: МИРОС.

Шнирельман В. 2002. Идентичность и образы предков: татары перед выбором // «Вестник Евразии. Acta Eurasica», № 4(19).

Шнирельман В. 2003. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Academia.

Шнирельман В.А. 2004. Интеллектуальные лабиринты: очерки идеологий в современной России / Московское бюро по правам человека. М.: Academia.

Язык и этнический конфликт. 2001 / Под ред. М. Брилл Олкотт, И. Семенова; Моск. Центр Карнеги. М.: Гендальф.

Mapping Multiculturalism. 1996 / Ed. by A. Gordon, C. Neufield. Minneapolis, L.: University of Minnesota Press.